

# День Толстого

Очерк

Н. Ашукин

Он просыпался в семь часов утра.

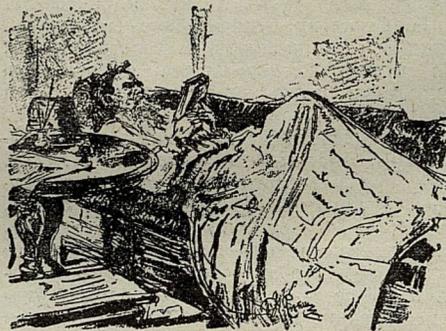
В старости спал он мало и чутко; говорил, что короткий сон придает ему «особенную бодрость, какое-то возбуждение». (Продолжительный сон у него бывал лишь тогда, когда ему сильно нездоровилось.) Ночью он несколько раз просыпался, зажигал свечу, торопясь занести в записную книжку внезапно мелькнувшую мысль, закрепить художественный образ, тему. Его мысль неустанно работала. Художественные образы теснились в его воображении. Он говорил, что «во сне мозговая умственная жизнь не останавливается»; некоторые мысли для своего «Круга чтения» он «увидел» во сне; нередко он видел во сне и художественные сюжеты своих рассказов; один из рассказов он так и назвал: «Что я видел во сне». Толстой вообще очень интересовался психологией сновидений. В одном из дневников 1898 г. им записано: «Сновидения—это не что иное, как смотрение не на мир сквозь стекла, а только на стекла и переплетение этих разных рисунков стекол»<sup>1)</sup>.

Одевался Толстой просто: носил блузу, летом полотняную, зимой—из шерстяной материи темного цвета, подпоясанную ремнем; в холода носил еще шерстяную вязаную фуфайку. По словам А. Ф. Кони, бросалась в глаза «необыкновенная опрятность и чистота его скромного и даже бедного наряда». Одежду носил он всегда старенькую, нередко заплатанную. В личной жизни он был враг всякой роскоши.

В 8 часов утра он выходил из дома на свою обычную утреннюю прогулку. В руках у него был складной стул. Своей легкой, как-бы скользящей походкой он медленно шел по старому яснополянскому саду, наполненному шелестом воспоминаний, входил под навес вековой липовой аллеи, поминувшей его предков. Одинокая прогулка Толстого продолжалась около часа. Он любил посидеть в еловой рощице на скамеечке из березы. Утро, усадебная тишина, одиночество,—все располагало к раздумью, к созерцательности... Потом с усадьбы он вы-

ходил в поле, в лес. Со встречными крестьянами, с прохожими всегда вступал в беседу. Зорким, пронзительным взглядом художника он замечал и форму плывущего облака, и легкую тень от него на дороге, и морщины встречного странника; складывал в кладовую своей памяти услышанное меткое слово, бойкую поговорку, житейский рассказ; жадно впитывал в себя все краски, звуки, запахи... С прогулки он часто приносил букетик полевых цветов. Из садовых цветов больше всего любил он душистый горошек и гелиотроп.

Возвращаясь, около дома на скамье под вязом он уже видел ожидающих его крестьян, пришедших к нему за помощью или за советом о своих деревенских делах, и людей неопределенных профессий, жаждавших поговорить с ним. Его ожидали взгляды, устремленные на него с волнением и смущением, исповеди, повести человеческих жизней и праздное любопытство. Старый вяз в Ясной Поляне был прозван «деревом



Толстой за чтением. (Рис. И. Репина)

бедных». Толстой охотно беседовал со всеми, в ком видел внутреннюю потребность говорить с ним. От любопытных отходил равнодушно, а нередко с раздражением.

После беседы под вязом он входил в дом. Оставлял в передней шляпу и стул-трость и подымался по скрипучей лесенке в зал-столовую—большую светлую комнату с потускневшими фамильными портретами на стенах; здесь проходила совместная ежедневная жизнь обитателей яснополянского дома; здесь ожидали возвращения Толстого с прогулки те, кто по положению своему мог, миновав «дерево бедных», прямо входить в дом. Это неравное отношение к яснополянским посетителям, Толстой, конечно, замечал, и оно не могло не огорчать его, но «непротивление злу» заставляло его смиряться перед регламентом чинной жизни помещичьего дома. Толстой крепко пожимал всем руки, перекидывался несколькими фразами с гостями, с удивительным тактом, приветливой улыбкой ободрял смущенных, впервые его видевших, целовал дочерей и мимоходом, иронически покачивая головой, выслушивал какую-нибудь газетную новость.

В столовой он не задерживался: утренними часами дорожил для работы. Он брал со стола чайничек с ячменным кофе, несколько кусков хлеба и шел к себе в кабинет работать. До обеда он выходил оттуда очень редко.

Он садился в большое, так называемое «рогатое» кресло около круглого стола. На столе уже была разложена ежедневная почта.

Маленьким серебряным ножичком, отцовским, он начинал вскрывать конверты. Письма к нему шли со всех концов света: писал купец из Лиссабона, болгарин-гимназист из Варны, дама из Америки, мешанин из Белева, австралиец, отрицающий церковь и государство; писали люди всех состояний и всех профессий на всех языках мира. И порою письма, написанные на новогреческом, еврейском, испанском, португальском языках, долгое время лежали не прочитанными, пока кто-либо из яснополянских гостей не переведет их для Толстого, не знавшего этих языков; французским, немецким, английским владел он в совершенстве, а в 1873 году выучился голландскому.

По поводу получаемых писем Толстой однажды сказал о себе в третьем лице: «Мне совестно говорить это, но я радуюсь авторитету Толстого. Благодаря ему, у меня сношения, как радиусы, с самыми далекими странами».

Верившие в истину его проповеди писали ему о своих сомнениях, искали ответов на вопросы, мучившие совесть, поклонники просили автографа, злоба угрожала ему проклятиями за его отступничество от церкви; иные просили, иные требовали от него денежной помощи.

Разбирая это великое множество писем, он почти безошибочно определял их по внешним признакам: «Если получу письмо на хорошей бумаге, хорошим почерком,—говорил он,—пустое; если малограмотное,—из трех писем два содержательные, живые. А вот немецкие письма самые неинтересные: все просят автограф».

Толстой тотчас же отвечал на все серьезные письма, как только прочитывал их, или же поручал ответить на них младшей дочери или секретарю. Некоторые письма оставлял без ответа, делая на них пометку: «Б. О.». Для поэтов, приславших Толстому рукописи своих стихов, была придумана отписка, отпечатанная на «шапирографе», которая и рассылалась всем стихотворцам: «Лев Николаевич прочел Ваши стихи и нашел их очень плохими. Вообще, он не советует Вам заниматься этим делом».

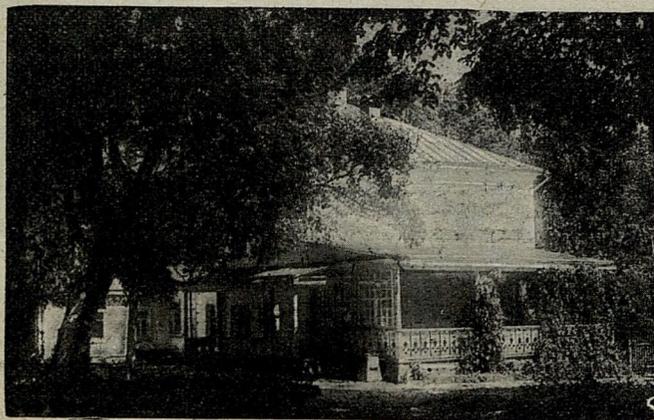
О стихах Толстой как-то заметил: «Я не люблю стихов вообще. Трогают меня, думаю, преимущественно как воспоминания молодых впечатлений, некоторые, и то самые совершенные, стихотворения Пушкина и Тютчева».

Покончив с ответами на письма, Толстой принимался за литературные работы. Он «не ждал вдохновения и не признавал его»,—просто садился за стол и работал. Работоспособность его была колоссальна. Он писал и переписывал и вновь перечеркивал, сокращая написанное, добываясь ясности и точности мысли. «От сокращения,—говорил он,—изложение всегда выигрывает. Нужно сразу схватить читателя и не выпускать его из того подъяма, на который он поднялся... Надо стараться довести свою мысль до такой степени простоты, точности и ясности, чтобы всякий, кто про-



Толстой за работой (Рис. И. Репина)

<sup>1)</sup> В основу этого мозаически составленного очерка положены воспоминания В. Ф. Булгакова, «День Л. Н. Толстого», напечат. в «Толстовском ежегоднике» за 1913 г. «Бытопись» одного дня, данная в этих воспоминаниях, мною расширена на основании других записей о Толстом: А. В. Гольденвейзер, «Вблизи Толстого», т. I—II, М. 1922—23 г.; Д. П. Маковицкий, «Яснополянские записки», М. 1922—1923; Н. Давыдов, «Из прошлого»; Булгаков; «Толстой в последний год его жизни», М. 1920; С. Ельпатышевский, «Литературные воспоминания»; Н. Н. Гусев, «Как работал Толстой», журн. «Научное слово», 1928, № 1; А. Е. Грузинский, «Ясная Поляна» М. 1922; «О Толстом», сборн. востр. под ред. П. А. Сергеевко, М. 1911 и др.



Дом в Ясной Поляне (налево—«Дерево бедных»)

чет, сказал бы: только-то? Да ведь это так просто!—А для этого нужно огромное напряжение и труд».

В часы работы в кабинет к Толстому не входил никто. Малейший шум, доносившийся к нему из других комнат, мешал ему,—в доме соблюдалась тишина. Утренние и дневные часы он считал для работы самыми плодотворными. «Работается хорошо днем после сна,—заметил он однажды,—а ночью, после целого дня, нельзя так ясно мыслить. За работой один работает, а другой критикует, при работе ночью критик спит. Я вполне согласен с Руссо, что лучшие мысли приходят ночью, когда человек просыпается, утром и во время прогулок».

Писал он, сидя на низком детском креслице, так как по близорукости любил сидеть низко, чтобы бумага была ближе к глазам. Но зрение у него все же всю жизнь было хорошее, он никогда не носил очков и при слабом свете свечи мог свободно читать самую мелкую печать.

Писал он тонкими продолговатыми буквами, не отрывая пера от бумаги и не делая нажимов. Его перечеркнутые черновики, со вставками и выносками на полях, были очень неразборчивы. Случалось, что иногда он сам не мог разобрать написанного. Рукописи Толстого переписывали на пишущей машине или его дочери или секретари. Комнату, где была пишущая машина, Толстой шутя называл «канцелярной».

Оторвавшись от рукописей, он любил для отдыха раскладывать на картах пасьянс.

Напряженная работа продолжалась у Толстого от 9 ч. утра до 1—2 дня. К завтраку он выходил оживленным, словоохотливым, довольным работой. Старый слуга Иван Васильевич приносил ему овсянку и простоквашу,—неизменное меню каждого дня.

После завтрака Толстой отправлялся или один, или в сопровождении кого-либо из знакомых на прогулку пешком или верхом. Он был большой знаток лошадей, любил их и был мастер ездить верхом. Севши на лошадь он «как бы преображался, делался бодрее, физически крепче». Однажды (ему было уже 65 лет) под ним заупрямилась лошадь. Толстой,—рассказывает Сергеенко,—«выпрямился, глаза у него загорелись, и хлыст, свистя в воздухе, опустился на лошадь. Лошадь пошла. И через минуту никто уже не поверил бы, что этот прост одетый скромный старик с белой бородой может быть так грозен».

Булгаков отметил, что Толстой во время верхних прогулок любил «брать маленькие препятствия: если тропинка загибается он непременно сократит дорогу, свернув и проехав напрямик между частыми деревьями и кустами; если есть пригорок, он проедет через него; ров и мостик через ров,—он, минуя мостик, презжает ров прямо по обрыву». Как только дорога в лесу становилась прямой, Толстой непременно пускал лошадь рысью, и спутник его едва поспевал за ним.

Прогулку он совершал, несмотря ни на какую погоду. Шел дождь, он надевал непромокаемое пальто, но все-таки ехал; была гололеда—он ехал шагом, осторожно, но прогулку не отменял.

Толстой был неутомимый ходок пешком. По выражению Э. Елпатьевского, у него был «мускульный голод». Он не мог ходить как все люди, «прогуливать себя», и его обычной нормой (уже в старости) была прогулка пешком в 10—15 верст, после которой он чувствовал себя бодрым.

Прогулки продолжались по часу, по два и больше. Пешком он любил гулять по шоссе, которое в шутку называл Невским проспектом. На шоссе он садился на придорожный камень и вступал в беседу с прохожими, странниками и богомольцами, кото-

рых немало проходило по дороге, соединяющей Москву с Киевом. Он обладал исключительной способностью «войти в интересы другого человека, даже в его манеры, стать с ним на одинаковую ногу и соблести в то же время свое человеческое достоинство, не сделав ни малейшей уступки в сохранении своей духовной независимости». Очень любил он беседовать с теми, кто был слегка «навеселе». «Ужасно,—говорит он,—люблю пьяненьких: этакое добродушие и искренность».

Наблюдения на шоссе «Невском проспекте» давали Толстому большой запас материалов для художественного творчества.

После прогулки Толстой до обеда отдыхал.

В 6 часов подавался обед. Толстой, убежденный вегетарианец, сидел за общим столом, где подавалось и мясное, обедал «как бы один и особ». «Сидел он за одним столом, и смешиваясь и не смешиваясь с остальными». За обедом служили два лакея в белых перчатках. Для Толстого это было «источником постоянных угрызений совести»: лакеи ежедневно напоминали ему о несоответствии его жизни и проповеди. Как-то за обедом, наклонившись к своему соседу, Толстой тихо сказал:

— Я думаю, через 50 лет люди будут говорить: представьте, они могли спокойно сидеть и есть, а взрослые люди прислушивались им, подавали и готовили кушанья.

Во время обеда Толстой нередко принимал живое участие в веселье молодежи, любил задавать шуточные загадки, напр., спрашивал:

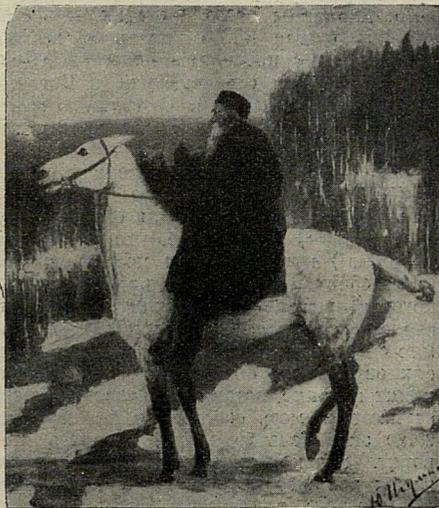
— Какая разница между печкой и щенком?

Никто не знал. И он отвечал:

— Когда в доме есть лишняя печка, ее не топят, а когда есть лишняя щенка,—его топят.

Вообще любил шутки и первым смеялся весело и заразительно. Он часто рассказывал о виденном и слышанном на прогулках.

После обеда, если находился партнер, Толстой садился сыграть партию в шахматы.



Толстой верхом. С картины Ю. Игумновой (Толстовский музей в Москве).

ты. Потом уходил к себе в кабинет и часа полтора до вечернего чая опять работал, но чаще всего отдавал это время чтению, которое было очень разнообразно, как был широк и разнообразен круг его интересов. На столе у него рядом с последними номерами иностранных журналов, трактатами по философии и истории религий можно было встретить и томик Мопассана или Чехова и сборник народных пословиц; рядом с кни-

гой о душевных болезнях лежал учебник географии. А на книжных полках геснились книги, которые ему требовались для работ: Конфуций, Лаотзе, коран Магомета, Платон, Монтень, Амиель,—материалы для составленного им «Круга чтения».

Читал Толстой с карандашом в руках, делая в книгах разнообразные пометки, выражая оценку прочитанного условными буквами, отдельными словами и баллами от нуля до пятерки. Например, на экземпляре стихотворений Тютчева имеются пометки: К—красота, Г—глубина, Ч—чувство. Рассказы Л. Андреева размечены Толстым по пятибалльной системе: «Жили-были»—5, «Ангелочек»—1, «Бергамот и Гараська»—2, «Оригинальный человек»—0 и т. д.

Остальной вечер Толстой проводил в тесном кругу семьи и знакомых. Тут в разговорах затрагивались самые разнообразные темы,—и литература, и события дня, и вновь полученные письма, и вопросы морали. Говорил Толстой,—вспоминает Сергеенко,—«образно, тем же богатым колоритным языком, каким писал, легко аргументируя и легко разбираясь в самых сложных положениях. Возражать ему было трудно. В его распоряжении находился как бы целый арсенал ярких, смелых, оригинальных и совершенно неожиданных аргументов, с меткими сравнениями и юмористическими вставками, вызывавшими невольный смех. «В спорах, затрагивавших его за живое, он волновался и, когда горячился, переходил с русского языка на французский. После горячего философского спора он с увлечением мог показывать, как надо делать из бумаги гусей. «Вот,—говорил он,—и в такой пустой штуке живет мысль человека. Может быть, делать этого гуся придумал давным-давно какой-нибудь китаец. А сколько он думал над этим?».

Мысль самого Толстого работала постоянно.

Часто в кругу близких Толстой по вечерам читал вслух или свое, вновь написанное, или чужое (любил читать вслух Чехова). Читал он просто и в то же время замечательно выразительно. Детям он любил рассказывать сочиненные им сказки и задавать придуманные им «сбивчивые» задачи.

Вечерние разговоры и шутки сменялись музыкой, иногда даже граммофоном, которого Толстой вообще не любил. Но у него были любимые пластинки. Так, он «не мог,—рассказывает Булгаков,—равнодушно слушать гонок на балаалайке в исполнении Трояновского. «Плясать хочется»—воскликнул он однажды, слушая гонак. При этом, сидя за шахматным столом и не переставая следить за ходом игры, принялся так сильно пристукивать ногами и прихлопывать в ладоши, что шум пошел по залу».

«Едва ли не больше всех искусств захватывала Л. Н. музыка»—записал в своем дневнике пианист Гольденвейзер. Он умел слушать музыку и «впитывать ее в себя».—«Я заметил,—вспоминал Берс,—что ощущения, вызываемые в нем музыкой, сопровождались легкой бледностью на лице и едва заметной гримасой, выражавшей нечто похожее на ужас».

Однажды, долго слушая Шопена, он воскликнул:

— Я должен сказать, что вся эта цивилизация—пусть она исчезнет к чертовой матери, но музыку жалко!

Музыка, по его собственному признанию, побуждала его к художественному творчеству.

После вечернего чая Толстой пожимал всем крепко руки и, «сгорбившись и обесилевши за день», уходил в спальню. Перед сном он раскрывал тетрадь дневника и сжатými фразами записывал все впечатления миновавшего дня.